



Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. 2021. Т. 21, вып. 4. С. 459–465
Izvestiya of Saratov University. Philology. Journalism, 2021, vol. 21, iss. 4, pp. 459–465
<https://bonjour.sgu.ru>

<https://doi.org/10.18500/1817-7115-2021-21-4-459-465>

Научная статья
УДК 821.161.1.09-1+929

Декабристы в культурно-исторической мифологии советской эпохи. Литературная «декабристиана» 1920–1960-х гг.



М. А. Александрова

Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н. А. Добролюбова, Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 31А

Александрова Мария Александровна, кандидат филологических наук, доцент, старший научный сотрудник НИЛ «Фундаментальные и прикладные исследования аспектов культурной идентификации», nam-s-toboi@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-5183-9322>

Аннотация. Актуальность темы определяется интересом современной гуманитаристики к мифотворческим аспектам советской культуры, в том числе к специфике интерпретации декабризма. Цель статьи – обзор основных этапов и закономерностей развития литературной «декабристианы» от начала советской эпохи до момента окончательного расщепления двух версий декабристского мифа (официальной и оппозиционной).

Ключевые слова: декабристы, миф, ностальгия, Багрицкий, Асеев, Коржавин, Самойлов, Галич

Для цитирования: Александрова М. А. Декабристы в культурно-исторической мифологии советской эпохи. Литературная «декабристиана» 1920–1960-х гг. // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. 2021. Т. 21, вып. 4. С. 459–465. <https://doi.org/10.18500/1817-7115-2021-21-4-459-465>

Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

Article

Decembrists in the cultural and historical mythology of the Soviet era. Literature experience of the 1920s–1960s

М. А. Aleksandrova

Linguistic University of Nizhny Novgorod, 31A Minina St., Nizhny Novgorod 603155, Russia

Maria A. Aleksandrova, nam-s-toboi@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-5183-9322>

Abstract. The relevance of the topic is determined by the interest of modern humanities to the myth-making aspects of the Soviet culture, including the interpretation of Decembrism. The purpose of the article is to review the main stages and patterns of the literary realization of Decembrism from the beginning of the Soviet era to the moment of the final separation of the two versions of the Decembrism myth (official and oppositional).

Keywords: Decembrists, myth, nostalgia, Bagritskiy, Aseyev, Korzhavin, Samoylov, Galich

For citation: Aleksandrova M. A. Decembrists in the cultural and historical mythology of the Soviet era. Literature experience of the 1920s–1960s. *Izvestiya of Saratov University. Philology. Journalism*, 2021, vol. 21, iss. 4, pp. 459–465 (in Russian). <https://doi.org/10.18500/1817-7115-2021-21-4-459-465>

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)

«Декабристиана» как феномен отечественной культуры

Общественный «запрос на прошлое» всегда избирателен: «Из бесконечного множества вещей, которые делали наши предки, нас <...> интересуют лишь некоторые; все остальные мы оставляем профессиональным историкам»¹. Воскрешению явления к новой жизни способствует его символический потенциал. «Символика действительности, – констатирует Л. Я. Гинзбург, – находит место и в мышлении историков, и в тех представлениях об исторических делах и людях,

которые бытуют в сознании общества»; когда же сами герои истории склонны к символизации действий и жестов, их судьба ретроспективно воспринимается как «законченная эстетическая структура», где события «плотно облечены своими деталями»². Поэтому декабристы с неизбежностью стали героями мифа, актуального на протяжении полутора веков.

Закономерно, что современная ревизия советской культурно-исторической мифологии избрала главным объектом культ декабристов. Многие публицисты демонстрируют крайности мифоборчества; в то же время представители



разных гуманитарных наук анализируют сам феномен декабристского мифа. Поставлен вопрос о методологических основаниях исторической и литературоведческой «декабристианы», игравшей столь заметную роль в культуре последних советских десятилетий: «Все декабристovedы верили, что научно изучают декабристов, хотя на самом деле изучали их ж и т и й н о»³; при этом «народные симпатии в значительной мере деидеологизированы; сильно в них, в частности, сызмальства привитоое нам преклонение перед пушкинской эпохой и пушкинским окружением. Не менее сильна и тоска по эпохе чести, рыцарями которой были многие декабристы»⁴.

Полезным оказался спор, сознательно спровоцированный С. Е. Эрлихом, автором монографии «История мифа (“Декабристская легенда” Герцена)» (2006). Участники полемики настаивали на расподоблении фальсификаций истории и мифотворчества, действительно выражающего некую правду о прошлом: «Разве “история” и “миф” составляют бинарную оппозицию? <...> Разве есть какой-либо независимый от субъекта критерий, благодаря которому он может судить о том, что является мифом, а что нет, и что, видимо, является правдой? <...> “Вырезая” из истории куски (чаще правдивые, чем нет), в своём отборе <историческая> память следует ценностным, идеологическим и тому подобным субъективным критериям»⁵. Уточнению предмета дискуссии послужили типологические параллели: «Существование живого человека и его мифологического двойника – это парадокс разных форм существования: материальной и идеальной. Для наших дней важен лишь идеальный (мифологический) образ Наполеона <...>. А сам он <...> остался в прошлом, и право р е а л ь н о г о существования в нашем времени, в сознании наших современников, перешло к м и ф у о нём. <...> Точно также и Пётр I, <...> и декабристы – все они существуют и действуют лишь как мифологические образы, влияющие на мышление людей нашего века»⁶. Итак, долговременное существование мифа есть «оценка значения <...> события для памяти потомков»⁷.

Резюмируя причины успеха «декабристской легенды» Герцена, С. Е. Эрлих указывает на ответственность «прямой связи с архетипическими образами “священных предков” и “созидательной жертвы”», «пластичное» соединение «воинского» и «пророческого» архетипов⁸. Но Герцена как мифотворца предвосхищает Пушкин. Двуетичность героической и страдальческой ипостаси декабристов воплощено уже в стихотворении «Во глубине сибирских руд...»: адресаты послания являют образцовое сочетание идеализма («дум высокое стремленье») и способности нести свой крест («гордое терпенье... скорбный труд»); их будущий апофеоз видится как подтверждение рыцарского статуса и восстановление рыцарского братства («...И братья меч вам отдадут»)⁹.

Именно Пушкин оставался для многих поколений главным поручителем за идеальный статус декабристов. Как бы ни толковались в советский период сибирское послание, «Арион», другие пушкинские тексты, суггестивная сила лирики формировала установки на восприятие «людей 14 декабря» в свете абсолютных ценностей.

В 1970-е гг., на которые пришёлся расцвет декабристского мифа, сам характер «предъявления» этой олицетворённой ценности отечественной культуры показательно совпал у Ю. М. Лотмана и Н. Н. Скатова, чьи научные позиции были весьма несходными: «... в создании совершенно нового для России типа человека вклад их <декабристов> в русскую культуру оказался непреходящим и своим приближением к норме, к идеалу, напоминающим вклад Пушкина в русскую поэзию»¹⁰; не только Пушкин – «наше всё», но и декабристы – «наше всё, а ещё точнее, наше всё – декабристы и Пушкин, то высшее, чего достигла в прошлом веке русская история в смысле выражения художественного и человеческого оптиматов»¹¹. Осмысление декабризма в эстетических категориях позволяет наблюдать законы актуализации мифа «изнутри» сознания носителя мифа: «...сколь явны, почти *завораживающи* в декабризме уже внешние признаки прекрасного: даже со всеми атрибутами воинской героики, даже со всеми приметами художественного артистизма»; «формула эстетического <...> есть одно из главных условий, дающих возможность представить декабризм в *максимально обобщённом виде*, как великое явление человеческого духа»¹².

Характеризуя опыт творческого воссоздания мифа на протяжении более чем полутора веков, С. А. Глузман заключает, что «декабрьское восстание достойно литературы, а декабристы достойны звания литературных героев, кем они, в сущности, и оказались в русской истории и русской культуре»¹³.

Парадоксы раннесоветской «декабристианы»

Режиссёр В. Мотыль свидетельствует о странной, на первый взгляд, коллизии, сопровождавшей его попытки воплотить декабристскую тему в кино: он тщетно добивался разрешения экранизировать к 140-летию восстания «Кюхлю» Ю. Тынянова, затем был отклонён предложенный им сценарий Г. Шпаликова и И. Маневича о Петре Каховском. Из своих бесконечных переговоров с партийными функционерами режиссёр вынес впечатление, что они досадуют на Ленина, сказавшего о декабристах нечто лестное; «чудом <...> со “Звездой пленительного счастья” удалось прорваться»¹⁴. Обращение к первому этапу советской «декабристианы» много объясняет.

Знаменитые формулы Герцена, будучи процитированы в ленинской (ещё дореволюционной) статье, закрепили место декабристов в новой «священной истории»: Герцену предшествовали



«богатыри, кованные из чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рождённых в среде палачества и раблепия». К числу таких детей принадлежал Герцен. Восстание декабристов разбудило и «очистило» его»¹⁵. С другой стороны, само включение этих мифологем в революционную телеологию создавало неразрешимое противоречие. Если концепция «трёх этапов освободительного движения в России» утверждала стадиальное восхождение к совершенству, то иерархия Герцена содержит обратный смысл: после декабристов «революция могла расти количественно, могла усовершенствовать свою тактику», но декабристский тип борца за революцию не мог быть превзойдён; «выше героев 14 декабря подняться некуда»¹⁶.

Признавая пользу герценовской апологии декабризма в качестве примера революционного энтузиазма, М. Н. Покровский настойчиво подчёркивал, что культ «первенцев свободы» исповедует лишь старая интеллигенция¹⁷. Голосом новой интеллигенции стала Лариса Рейснер, опубликовавшая в 1925 г. году цикл очерков «Декабристы»: «...уже вечером 14 декабря, то есть в самый день революции, вожди её сидели в Петропавловской крепости, без всякой необходимости выдавая друг друга, марая номерованные листы теми страшными, беспомощными и подлыми признаниями, которые истории было угодно сохранить как великий урок для последующих революционных поколений»¹⁸. Высокую декабристскую мифологию вплоть до середины 1930-х целенаправленно опровергали, напоминая о том, что знакомство с рассекреченными ещё при царе архивами стало источником «горького разочарования» для носителей «благоговейной памяти о героях 14 декабря»¹⁹; «Не было лучшего средства рассеять легенду, как напечатать подлинные документы»²⁰. Поэтому декабризм в 1920-е гг. стал трудным для писателя предметом.

Особенно уязвимой оказалась беллетристика, по сути своей предназначенная подтверждать общепринятые ценности; многие авторы пытались эклектически совмещать разновременные идеологические «вехи»²¹. В раннесоветской прозаической «декабристике» высший уровень художественно-исторической рефлексии задавал Юрий Тынянов: он «сосредоточивал всё своё и научное, и художественное внимание на декабризме», шёл вглубь исторического «материала», чтобы «раскрыть декабризм от начала и до конца, до перерождения, до смерти»²². Для Тынянова «центр интереса переносится <...> на декабристов как на узловое событие истории русской интеллигенции», увиденное сквозь призму новой эпохи, в которой слышано «дрожание и мление души, измученной собственными историческими чаяниями «славы и добра»»²³. Отклики на «Кюхлю» и «Смерть Вазир-Мухтара» можно

обнаружить у Светлова, Кедрина, Рыленкова и других, однако первоначальное освоение тыняновской концепции декабризма сопровождалось в большинстве случаев упрощением.

Проблему адаптации традиционного мифа к новым условиям нагляднее всего воплотила лирика поколения, которое встретило революцию совершеннолетним и «сделало своей главной темой рефлексии – 1) над тем, “что случилось” и 2) над выбором своего места в резко изменившемся мире»²⁴.

У поэтов 1920-х гг. не единожды появляется метафора декабрьского морока, характеризующая одновременно «чары» высокой темы и «смутность» вопроса об исторической ценности прошлого. Эдуард Багрицкий в «Папиросном коробке» (1927) варьирует балладный сюжет непрочного «ночного гостя»: «Довольно! Пред нами другие пути, // Другая повадка и хватка! – // Но гость не встаёт. Он не хочет уйти; // Он пальцами, чище слоновой кости, // Терзает и вертит перчатку... // <...> // – Ты наш навсегда! Мы повсюду с тобой, // Взгляни! – // И рукой на окно: / Голубой // Сад ёрзал костями пустыми, // Сад в ночь подымал допотопный костяк, // Вдыхая луну, от бронхита свистая, // Шепча непонятное имя... // – Содружество наше навек заодно! – // Из пруда, прижатого к иве, // Из круглой смородины лезет в окно // Промокший Каховского кивер... // <...> Вы тени от лампы! // Вы мокрая дрожь // Деревьев под звёздами робкими... // Меня разговорами не проведёшь, // Портрет с папиросной коробки...»²⁵.

Николай Асеев в первом стихотворении трёхчастного декабристского цикла (1926) рисует образ «зачарованного места», берущего в плен: «Петербургский / холодный туман... // Это день / или это – тюрьма? // <...> Дым, / как дерево, / тих и кудряв, // А деревья нависли, / как дым. // Будто город – / с того Декабря – // Побелел / и остался седым»²⁶. Во второй части цикла приобщение к истории, овеществлённой в облике города, исполнено драматизма: «Если ты / начинаешь стареть – // В двадцать раз / здесь седеешь скорей; // В невольский шелест / рассветом влеком, // Ты проснёшься – / уже стариком. // Сдав сердце / свинцовый восторг: // Это марево / или игра – // Эти вздохи / дворцов и мостов, // Усыпленных садов / филигрань?! // <...> Ни себя, / ни друзей не щадя, // Здесь столетье / сходило с ума. // Столбенит / на твоих площадях, // Петербургский / студёный туман»²⁷. Герои того Декабря застыли в историческом столбняке, растворились в студёном мареве, и носитель лирического переживания *седеет*, заражаясь притягательно-опасным столетним бредом.

У Багрицкого подобная коллизия разрешается наступлением утра и пробуждением сына, свободного от двусмысленного обаяния прошлого: «Я знаю: ты с чистою кровью рождён, // Ты встал на пороге весёлых времён! // Прими ж



завещанье: // Когда я уйду // От песен, от ветра, от родины – // Ты начисто выруби сосны в саду, // Ты выкорчуй куст смородины!»²⁸. Напротив, Асеев избавляется от томительно-противоречивого отношения к прошлому, восстанавливая его целостный романтический образ; в прославленных «Синих гусарах» (это третье стихотворение цикла) поэтизируется гибель юных во имя обновления мира и собственного бессмертия: «... Я тебе отвечу, / друг дорогой, – // Гибель нестрашная – / в петле тугой. // Голову выбелив / в рабстве таком, // Позорней и гибельней – / *стать стариком!* // <...> Вот они, / не сгинув, / не умирав, // Снова собираются / в номерах. // Скинуты ментики, / ночь глубока. // А ну-ка, вспеньте-ка / полный бокал! // Налъём и осушим / и станем трезвей – // За Южное братство, / за юных друзей!»²⁹. Подобная романтизация декабризма, ещё не ставшая канонической, находила оправдание в эмоциональном созвучии с днём сегодняшним: «Да здравствует Революция, // сломившая власть стариков!»³⁰.

Задачи «политики, опрокинутой в прошлое», совпали в итоге с художественным поиском цельности. К середине 1930-х гг. был выработан баланс между «классовым анализом» декабризма и «житийным» его прославлением; с этих пор от писателя особенно настойчиво требуют понимания того, что «ограниченность декабризма исторически уничтожается, а положительные элементы движения переходят к последующим поколениям революционеров»³¹. Распространённой литературной моделью становится сочувственно-любовный взгляд на прекрасных героев прошлого из ещё более прекрасного настоящего. Главные действующие лица «Северной повести» К. Паустовского (1938) представляют поколение рыцарей и безупречных женщин, но идеал находит окончательное воплощение только в их потомках – участниках символического праздника Белых ночей в обновлённом Петербурге-Ленинграде. Идеологему преемственности интимизировал Михаил Светлов в своём излюбленном сюжете «сна о прошлом» («Тихо светит месяц серебряный...», 1949): мечтатель-комсомолец, которому «сняты декабристы», возведён в ранг старшего, несущего ответственность и за Пушкина («Разве можно было не спешить, // Чтоб непоправимое несчастье // Как угодно, но предотвратить!»), и за ранних свободолюбцев: «Где его товарищ Кюхельбекер, // *Фантазёр, нестройной боец?*»³². Кюхельбекер (чей образ навеян, безусловно, повестью Ю. Тынянова «Кюхля») становится в своей новой ипостаси олицетворением исторического «несовершенства» как свойства поэтического, притягательного.

Со второй половины 1930-х гг. тиражируется обновление поэтических пророчеств декабристской эпохи: «Потомки, верьте нам! Не так уж ночь долга, // Моим пророческим дышите завещаньем, // И вольность озарит вас Северным сияньем, // Спалив в его лучах извечные снега!»³³. В рамках

этой модели осмысления декабризма тоже были возможны нетривиальные поэтические ходы – как у раннего Давида Самойлова, например: «... Когда во глубине сибирских руд // Кирки бросали, точно якоря, // И верили, и знали – не умрут // И, наконец, взойдёт она, заря»³⁴. Финальную строку послания «В Сибирь» поэт, «разумеется, понимал <...> как предсказание революции»³⁵: «Лежит Алтай, как каменный топор. // Прими его, помыслив о делах!»³⁶ Диалог с первоисточником декабристского мифа оказывается в итоге богаче, нежели идеологический посыл.

Содержательность формы декабристского мифа

Говоря о культурно-исторической памяти, которая стремится к максимальной целостности образов, А. М. Панченко особо выделял те случаи, когда «“изваяние” исторического деятеля прямо отливается в словесную или пластическую форму»³⁷. Обаяние героической личности – важнейший элемент декабристского мифа, поэтому в его составе закономерно оформились некоторые персональные «легенды»; одни из них оказались весьма устойчивы, другие в советский период подверглись коррекции. Так, острая реакция современников на бонапартистские черты личности Пестеля осталась в прошлом, и определяющим стало пушкинское слово – гипотетический портрет главы Южного общества в «Арионе»: «Наруль склоняясь, наш кормщик умный // В молчанье правил грузный чёлн...»³⁸. Но культура «изваяла», наряду с индивидуальными «памятниками», и само понятие *декабризм*, ставшее поэтизмом.

Разработка декабристской темы в литературе советского периода сопровождалась стихийным отбором наиболее ярких штрихов, придающих образу визуальную отчётливость, пластичность и высокую степень символичности. Особенно выразителен след, оставленный в литературной памяти асеевскими «Синими гусарами»; «старинная» атрибутика будет в своё время воссоздана и в заглавной формуле повести из серии «Пламенные революционеры»: «Легенда о синем гусаре» В. Гусева (1976), и в рефрене неподцензурной «Гусарской песни» Александра Галича: «Ах, кивера да ментики, возвышенная речь! <...> Ах, кивера да ментики, нерукотворный стяг!»³⁹. В той же метонимической функции традиционно выступают эполеты, шпаги, а ритуальное уничтожение воинских атрибутов во время акта гражданской казни становится поводом для провозглашения неотчуждаемого благородства осуждённых. Эта традиция нашла своеобразное завершение в романе Василия Аксёнова «Таинственная страсть». Здесь прочитано по декабристскому коду событие 1975 г. – восстание, поднятое капитаном третьего ранга Валерием Саблиным на большом противолодочном корабле «Сторожевой»: герой переименован в кавторанга *Шпагина*, захваченный корабль – в крейсер «Блистательный»⁴⁰.



Устойчивый метафорический язык, оживляющий в памяти несколько авторитетных претекстов, неизбежное для разных писателей совпадение самих принципов отбора знаковых деталей и способов генерализации образа – всё это отчасти скрадывает неоднородность декабристского мифа советского периода. Тем не менее основные пути актуализации мифа заданы различными векторами. Линия «законной преемственности» со временем формализовалась. Альтернативная тенденция набирала силу.

Рефлексия, ностальгия и зависть

В литературной ситуации 1940-х гг. показательно контрастируют светловский «сон комсомольца» и «Зависть» Наума Коржавина, где утверждается несостоятельность современных притязаний на декабристское наследие: «Можем строчки нанизывать // Посложнее, попроще, // Но никто нас не вызовет // На Сенатскую площадь. // И какие бы взгляды вы // Ни старались выплёскивать, // Генерал Милорадович // Не узнает Каховского. // Пусть по мелочи биты вы // Чаше самого частого, // Но не будут выпытывать // Имена соучастников»⁴¹. Символическое значение получает присущий юному автору психологический комплекс школьника, «младшего»: «никто нас не вызовет на Сенатскую площадь» – точно к доске на уроке истории или в кабинет директора «держат ответ». Это зависть подростка к настоящей героине, славе и любви: «Мы не будем увенчаны... // И в кибитках, снегами, // Настоящие женщины // Не поедут за нами»⁴².

Для юных интеллигентов, участвовавших в войне, декабризм становится на какое-то время абсолютно современным мироощущением, и свидетели превращения «младшего призывного возраста» в поколение отмечают эту черту. Если в символической политике государства возвращение офицерских знаков отличия означало восстановление военно-имперских ценностей, то Анна Ахматова и Надежда Мандельштам признали юнцов в погонах реинкарнацией героев 1825 г.: «“Они стали похожи на декабристов”, – сказала Ахматова. Они действительно были похожи на декабристов, <...> и где-то среди них <...> думал о России <...> молодой артиллерист <Александр Солженицын>, по которому скучала каторга и литература»⁴³.

Сразу после войны Давид Самойлов был воодушевлен возможностью исторически «довершить» идеал декабризма: «Совершенный тип человека нашего времени – тип декабриста; но декабриста, *пришедшего к власти*...»⁴⁴. А через годы ставится под вопрос само право современников на сравнение с этим лучшим, по убеждению поэта, воплощением русского духа; у представителя когорты «декабристов без Сенатской»⁴⁵ созревает убеждение, что фронтовое

поколение, ослабленное гибелью лучших, «не сумело выполнить “декабристской миссии”»⁴⁶. На историческом фоне проигрывают и вольнодумцы позднесоветской эпохи: «Декабристское дело оказалось выше поражения. Именно после него сформировался высокий, образцовый для России нравственный тип. Диссиденты такого типа не создали. <...> Декабризм оказался неповторим»⁴⁷.

Наконец, Александр Галич, чей «Петербургский романс» (1968) послужил идеализирующему сопоставлению диссидентов с декабристами, по своему запечатлел неповторимость идеала. Как убедительно показано С. В. Свиридовым, в восприятии «Петербургского романса» «вмешалась смысловая аберрация: мы невольно расцениваем песню как посвящённую ещё не состоявшемуся событию» – демонстрации 25 августа 1968 г. против введения советских войск в Чехословакию, «и память о нём заслоняет первоначальный смысл стихов»; «Первоначально “Романс” не воспевал гражданский подвиг как факт, а требовал его»⁴⁸. Указывая на прообраз чаемого подвига, поэт видит олицетворённый идеал в свете вечности: «Здесь всегда по квадрату // На рассвете полки – // От Синода к Сенату, // Как четыре строки!»⁴⁹. Если рассветное видение прямо побуждает к действию («Полки на площади стоят всегда и ждут именно т е б я»⁵⁰), то останавливает нажитая поколениями инерция компромисса: «Здесь, над винною стойкой, // Над пожаром зари // Накодовано столько, // Набормотано столько, // <...> // Что пойдёшь – повтори! // Все земные печали – // Были в этом краю... // Вот и платим молчаньем // За причастность свою!» (236, 237).

Ностальгия по декабристам закономерно оборачивалась завистью, но Галич иначе, чем Коржавин, мотивирует недостижимую высоту образца. Отягощённый *ошибками отцов*, совестливый «завистник» идеализирует мальчишеский порыв. Этой цели служит и приём «остранения» – введение голоса благоразумного *полковника*, обычно отождествляемого с нерешительным «диктатором восстания» Сергеем Трубецким: «*Мальчишки были безусые – // Прапоры и корнеты, // Мальчишки были безумны, // К чему им мои советы?! // <...> Зачем же потом случилось, // Что меркнет копеейкой ржавой // Всей славы моей лучинность // Пред солнечной ихней славой?!*» (236, 237). Когда несостоявшийся герой сам оглашает вынесенный историей приговор, он становится, по воле автора, проводником и более общего смысла: *пред солнцем*⁵¹ меркнет любая слава. Единожды явленный идеал всё ещё никем не унаследован; отсюда – открытый финал: «И всё так же, не прощя, // Век наш пробует нас – // Можешь выйти на площадь, // Смеешь выйти на площадь, // <...> // В тот назначенный час?!» (236, 237). Идеал отнесён к *веку железному*, который по всем обстоятельствам сходен с *веком нынеш-*



ним; различие заключается в типе человеческой личности, которая несёт историческую ответственность. Прошлое предстаёт если не «лучшим временем», то временем лучших людей.

Поэтический темперамент Галич предельно выявил идеализирующий потенциал декабристского мифа. Ностальгический пафос возростал по мере того, как обострялась проблема гражданского поступка. На исходе «оттепели» произошла окончательная дискредитация официальной доктрины декабризма – идеологическая и творческая: тексты этого рода получают непредумышленно пародийный характер. Итоги расподобления двух версий декабристского мифа подвёл Коржавин в ироническом стихотворении «Памяти Герцена, или Баллада об историческом недосыпе» (1969).

Само обращение писателя к теме декабризма стало служить надёжным критерием различия «своих» и «чужих». Но ожидания и предвосхищения современников могли исказить восприятие художественного высказывания; репутацию «певца декабристов» получали те, чья реальная позиция была куда более сложной. Всем сказанным определяется перспектива исследования, результаты которого будут представлены нами в новых статьях «декабристского цикла».

Примечания

- 1 Шацкий Е. Утопия и традиция / пер. с пол. М. : Прогресс, 1990. С. 430–431.
- 2 Гинзбург Л. О психологической прозе. М. : INTRADA, 1999. С. 9.
- 3 Миронов Б. Россия колдунов или Россия болтунов? // Анти-Эрлих. PRo-Moldova. СПб. : Алетей, 2006. С. 31. Разрядкой здесь и далее переданы логические усиления, принадлежащие цитируемым авторам; курсив везде мой. – М. А.
- 4 Филлин М. О Пушкине и окрест поэта (Из архивных разысканий). М. : Терра, 1997. С. 147.
- 5 Эткин А. Расколдовать русскую историю // Анти-Эрлих. PRo-Moldova. С. 178.
- 6 Мосионжик Л. Чем занимаются «колдуны»? (О мифе, идеологии и их печальной неизбежности) // Там же. С. 220–221.
- 7 Там же. С. 221.
- 8 Эрлих С. История мифа : «Декабристская легенда» Герцена. СПб. : Алетей, 2006. С. 233.
- 9 Пушкин А. Полн. собр. соч. : в 10 т. Т. 3. М. : АН СССР, 1957. С. 7.
- 10 Лотман Ю. Декабрист в повседневной жизни : (Бытовое поведение как историко-психологическая категория) // Литературное наследие декабристов / отв. ред. В. Г. Базанов, В. Э. Вацуру. Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1975. С. 69.
- 11 Скатов Н. «Лучезарная точка в русских летописях» (О нравственно-эстетическом опыте декабризма) // Вопросы литературы. 1975. № 11. С. 139–140.
- 12 Там же. С. 137, 138.
- 13 Глузман С. Ментальное пространство России. СПб. : Алетей, 2010. С. 77.
- 14 Мотыль В. [Дискуссия] // Империя и либералы : сб. эссе / сост. и ред. Я. А. Гордин, А. Д. Марголис. СПб. : Журн. «Звезда», 2001. С. 283, 284.
- 15 Ленин В. Полн. собр. соч. : в 55 т. Изд. 5-е. Т. 21. М. : Политиздат, 1968. С. 255.
- 16 Покровский М. Декабристы : сб. ст. М. ; Л. : Госиздат, 1927. С. 39.
- 17 Там же. С. 76.
- 18 Рейснер Л. Избранные произведения. М. : ГИХЛ, 1958. С. 441.
- 19 Щёголев П. Декабристы. М. ; Л. : Госиздат, 1926. С. 138.
- 20 Покровский М. Указ. соч. С. 32.
- 21 Позднее беллетристам 1920-х гг. будет поставлено в вину отсутствие идеологической «зрелости» (См.: Левкович Я. Восстание декабристов в советской художественной прозе // Русская литература. 1975. № 4. С. 168–169).
- 22 Эйхенбаум Б. О прозе. О поэзии : сб. ст. Л. : Художественная литература, Ленингр. отд-ние, 1986. С. 208, 216.
- 23 Эпштейн М. Все эссе : в 2 т. Т. 1. В России (1970–1980-е гг.). Екатеринбург : У-Фактория, 2005. С. 232.
- 24 Чудакова М. Избранные работы. Т. 1. Литература советского прошлого. М. : Языки русской культуры, 2001. С. 394.
- 25 Багрицкий Э. Стихотворения и поэмы. М. ; Л. : Советский писатель, 1964. С. 103–104.
- 26 Асеев Н. Декабристам. Три стихотворения // Новый мир. 1926. Кн. третья. С. 32.
- 27 Там же. С. 33.
- 28 Багрицкий Э. Указ. соч. С. 105.
- 29 Асеев Н. Декабристам. С. 34–35.
- 30 Асеев Н. Стихотворения и поэмы. М. ; Л. : Советский писатель, 1967. С. 165.
- 31 Цырлин Л. Тынянов-беллетрист. Л. : Изд-во писателей, 1935. С. 79.
- 32 Светлов М. Собр. соч. : в 3 т. Т. 1. М. : Художественная литература, 1975. С. 474–475.
- 33 Рождественский Вс. Избранное : в 2 т. Т. 1. Л. : Художественная литература, Ленингр. отд-ние, 1974. С. 97.
- 34 Самойлов Д. Стихотворения. СПб. : Академический проект, 2006. С. 448.
- 35 Немзер А. Лирика Давида Самойлова [Вступит. ст.] // Самойлов Д. Стихотворения. СПб. : Академический проект, 2006. С. 28–29.
- 36 Самойлов Д. Стихотворения. С. 449.
- 37 Панченко А. Русская история и культура : Работы разных лет. СПб. : Юна, 1999. С. 422.
- 38 Пушкин А. Полн. собр. соч. : в 10 т. Т. 3. С. 15.
- 39 Галич А. Облака плывут, облака : Песни, стихотворения. М. : Локид ; ЭКСМО-Пресс, 1999. С. 130, 131.
- 40 См.: Аксёнов В. Таинственная страсть : Роман о шестидесятниках. М. : Семь дней ; Эстепона, 2009. С. 377–378.
- 41 Коржавин Н. Время дано : Стихи и поэмы. М. : Художественная литература, 1992. С. 13.
- 42 Там же.



- ⁴³ *Мандельштам Н.* Вторая книга. 3-е изд. Paris : YMCA-PRESS, 1983. С. 396–397.
- ⁴⁴ *Самойлов Д.* Поденные записи : в 2 т. М. : Время, 2002. Т. 1. С. 226.
- ⁴⁵ *Самойлов Д.* Стихотворения. С. 562.
- ⁴⁶ *Немзер А.* Указ. соч. С. 30.
- ⁴⁷ *Самойлов Д.* Поденные записи. Т. 2. С. 301.
- ⁴⁸ *Свиридов С.* Начало «Пражской осени» : Ещё о «Петербургском романсе» Галича // Галич : Новые статьи и материалы / сост. А. Е. Крылов. М. ; Тверь: ЮПАПС : Твер. обл. тип., 2003. С. 128, 153.
- ⁴⁹ *Галич А.* Облака плывут, облака : Песни, стихотворения. М. : Локид ; ЭКСМО-Пресс, 1999. С. 236. Далее при цитировании «Петербургского романса» номера страниц указываются в тексте в скобках.
- ⁵⁰ *Свиридов С.* Указ. соч. С. 133.
- ⁵¹ По наблюдению С. В. Свиридова (Указ. соч. С. 132–133), Галич вложил в уста персонажа парафраз «Вакхической песни» Пушкина: «Как эта лампада бледнеет // Пред ясным восходом зари, // Так ложная мудрость мерцает и тлеет // *Пред солнцем бессмертным ума*» (*Пушкин А.* Полн. собр. соч. : в 10 т. Т. 2. М. : АН СССР, 1956. С. 269).

Поступила в редакцию 24.08.2021, после рецензирования 31.08.2021, принята к публикации 01.09.2021
Received 24.07.2021, revised 31.08.2021, accepted 01.09.2021